

О беседах с Эйнштейном, знакомстве со Штейнером и настроениях берлинской публики 1920-х годов

<http://oralhistory.ru/talks/orh-104>

🎙 2 мая 1969

Собеседник

Ланг Евгения Александровна

Ведущий

Дувакин Виктор Дмитриевич

Дата записи

Беседа записана 2 мая 1969 и опубликована 14 марта 2018.

Введение

Третья беседа с художницей Евгенией Ланг посвящена рассказу о жизни в Берлине начала 1920-х годов. Встречи с Рудольфом Штейнером, экстатическое восприятие скульптор Александра Архипенко и случайная встреча с погромщиками в автобусе. Художница читает свои воспоминания, в которых, описывая многочисленные встречи с Альбертом Эйнштейном, много размышляет о нарастающей агрессии и в целом о переменах в жизни немецкой столицы.

[Вступительную статью](#) и комментарии к беседам с Е. А. Ланг подготовил литературовед Владимир Радзишевский.

Мысли Владимира Маяковского о будущем и бессмертии

Виктор Дмитриевич Дувакин: Евгения Александровна, я вас просил отдельно рассказать о ваших встречах с Эйнштейном, тем более что Маяковский Эйнштейном очень интересовался.

Евгения Александровна Ланг: Я вам об Эйнштейне, конечно, расскажу. Вы меня уж извините, но я начну с Маяковского.

В.Д.: Тем лучше.

Е.Л.: Потому что у меня Эйнштейн вписывается в мою жизнь и связан с разными элементами моей жизни. У меня глубоко запечатлелся предгитлеровский Берлин, в котором я познакомилась с Эйнштейном. Я коснусь нескольких фактов той атмосферы, в которой и Эйнштейн, и я тогда жили, которая, собственно, и являлась сюжетом наших разговоров.

В.Д.: А Маяковский-то причем?

Е.Л.: А вот. А про Маяковского я вам сейчас расскажу. Читая воспоминания о Маяковском Кассиль, я встретила фразу (*начинает читать*):

«Проблема времени, возможность приблизить будущее давно уже занимает Маяковского. Еще весной 1922 года, услышав о теории относительности Эйнштейна, пораженный переменами, которые произведены в научных взглядах на время и пространство, Маяковский задумчиво говорит своему собеседнику:

— А вдруг так будет завоевано бессмертие?! Вдруг смерти не будет? А я совершенно убежден, что будут воскрешать мертвых. Я обязательно найду физика, который мне по пунктам растолкует книгу Эйнштейна. Я этому физика академический паек платить за это буду»*.

* Кассиль Лев. Маяковский – сам: очерк жизни и работы поэта. М.: Госизд-во дет. лит. М-ва просвещения РСФСР, 1963. С. 138–139.

В.Д.: Евгения Александровна, простите, я вас перебыю. Это вы цитируете по книжке Кассиль «Маяковский — сам»...

Е.Л.: Да.

В.Д.: Кажется, во всех изданиях* (это издание 60-го года) Кассиль, вообще-то говоря, пользуется очень широко чужим материалом. В данном случае он без ссылки почти дословно цитирует то, что рассказано (может, он просто не хотел называть эту фамилию) Романом Осиповичем Якобсоном. Тем самым Ромкой Якобсоном, который упомянут в «Товарищу Нетте — пароходу и человеку»**, который в 20-м году часто встречался с Маяковским, а потом уехал за границу, был в Чехословакии. Так вот, этот Якобсон в книжке, изданной в 1930 или 31-м году совместно с неким Мирским (вот который вернулся в СССР, его еще Горький поддержал), напечатал статью «О поколении, растерявшем своих поэтов»***. И там этот разговор приводится****. Вы прочитали его так повествовательно, а у него это звучит страшно полемически. Он подчеркивает какие-то упрямые скулы Маяковского и вот эту сердитую фразу, так выражающую то голодное время: «Неужели я ничего не пойму? Я найду физика, который мне растолкует книгу Эйнштейна. Этому физика я еще паек платить буду». И как там дальше Якобсон говорит: «Это был совсем другой Маяковский, которым страшно владела мысль о необходимости бессмертия все-таки»*****.

* До бесед Дувакина с Ланг книга Льва Кассиль «Маяковский – сам» выходила четырежды отдельными изданиями (Л.: Детиздат, 1940; М.: Л.: Детиздат, 1940; М.: Мол. гвардия, 1960; М.: Гос. изд-во дет. лит., 1963) и была включена в 5-й том его 5-томного Собрания сочинений (М.: Дет. лит., 1966).

** О советском дипкурьере Теодоре Ивановиче Нетте (1896–1926) Маяковский в этом стихотворении вспоминает: Медлил ты. Захрапывали сони. Глаз кося в печати сургуча, напролет болтал о Ромке Якобсоне и смешно потел, стихи уча (V, 162–163). О реалиях, легших в основу стихотворения, Якобсон рассказывает в заметке «Из комментария к стихам Маяковского “Товарищу Нетте – пароходу и человеку”» (Якобсон Роман. Работы по поэтике / вступ. ст. Вяч. Вс. Иванова; сост. и общ. ред. М. Л. Гаспарова. М.: Прогресс, 1987. С. 339–342). Свидетельства Якобсона дополнены в устных воспоминаниях (Якобсон-будетлянин. С. 61–63).

*** Статья Якобсона «О поколении, растратившем своих поэтов», датированная маем – июнем 1930 г., вместе со статьей Д. Святополка-Мирского «Две смерти: 1937–1930» составила сборник «Смерть Владимира Маяковского» (Берлин, 1931), переизданный через 45 лет: Якобсон Роман; Святополк-Мирский Д. Смерть Владимира Маяковского. The Hague; Paris: Mouton, 1975. С. 8–34 и вошла в Собрание сочинений Романа Якобсона (т. 7, с. 355–381).

**** «Весной 1920 г., – пишет Якобсон, – я вернулся в закупоренную блокадой Москву. Привез новые европейские книги, сведения о научной работе Запада. М<аяковский> заставил меня повторить несколько раз мой сбивчивый рассказ об общей теории относительности и о ширившейся вокруг нее в то время дискуссии. Освобождение энергии, проблематика времени, вопрос о том, не является ли скорость, обгоняющая световой луч, обратным движением во времени – все это захватывало М-го. Я редко видел его таким внимательным и увлеченным.

– А ты не думаешь, – спросил он вдруг, – что так будет завоевано бессмертие?

Я посмотрел изумленно, пробормотал что-то недоверчивое.

Тогда с гипнотизирующим упорством, наверное знакомым всем, кто ближе знал М-го, он задвигал скулами:

– А я совершенно убежден, что смерти не будет. Будут воскрешать мертвых. Я найду физика, который мне по пунктам растолкует книгу Эйнштейна. Ведь не может быть, чтоб я так и не понял. Я этому физику академический паек платить буду» (Якобсон Роман. О поколении, растратившем своих поэтов // Роман Якобсон; Д. Святополк-Мирский. Смерть Владимира Маяковского. The Hague; Paris: Mouton, 1975. С. 20).

***** У Якобсона: «Для меня в ту минуту открылся совершенно другой М.: требование победы над смертью владело им» (там же).

Е. Л.: Вот и я, которая очень хорошо, почти с юношеских лет знала Маяковского (я же с ним познакомилась, как я в предыдущей беседе вам рассказывала, когда ему было всего восемнадцать лет)... Мысль о бессмертии им владела. С тем, что нужно умереть, никак он примириться не мог и не хотел. И вот в этом была вся его вражда с богом.

В. Д.: И вот так вышло, что, попав за границу, уже после того, как вы, можно сказать, два круга знакомства с Маяковским прошли (в ранней юности, а потом в 17-м — 18-м году), вы уже на фоне нового, вот этого послевоенного, разгромного Берлина встретились с Эйнштейном.

Е. Л.: А с Маяковским, я вам должна сказать, я всю жизнь потом в разлуке вела такое ретроспективное знакомство. Я всегда с его юным обликом потом сравнивала его уже зрелую жизнь. (*Продолжает читать.*) И когда я прочла эти строки, уже будучи в Москве, вдруг целый рой образов и воспоминаний закружился передо мной, охватил меня. Да, очень далекое прошлое вдруг всплыло на самую поверхность, захлестнуло сегодняшние будни.

Во-первых, сам Маяковский встал передо мной, Маяковский далеких полудетских лет, 11-го — 12-го годов. Когда мы мерили неустойчивым шагом заснеженные улицы Москвы, пересекая ее вдоль и поперек, от мастерской Келина на Тверской-Ямской мимо теперешней площади Маяковского на Мясницкую, теперешнюю улицу Кирова. Мы не замечали ни расстояния, ни усталости, погруженные в наши юные грезы о возможности науки, о беспредельности неисследованного обитаемого нами мира. Только тогда наши пособия были более чем скудными. В прошлом — все тот же Жюль Верн, а в настоящем — книга «Машина времени», «Нашествие марсиан»* и наша собственная ни временем, ни пространством не сдерживаемая фантазия.

* Упомянуты научно-фантастические романы Герберта Уэллса «Машина времени» (1895) и «Война миров» (1898).

А потом годы 17-й — 18-й. Маяковский повзрослевший, творчески окрепший. Меблированные комнаты, занимаемые им тогда в переулке на Петровке. (*Прерывает чтение.*) Вы нашли, что это Салтыковский был переулочек. Вот видите, а я даже забыла название этого переулочка. Действительно, это был Салтыковский переулочек.

В. Д.: Да, это вы рассказали.

Е. Л.: Да. (*Продолжает читать.*) Этой комнате он сумел придать какой-то свой личный уют. Там была тахта, закрытая восточным ковром, большая грузинская вышивка над тахтой. Помню, Маяковский, растянувшись во всю свою длину, лежит на ковре, прислонившись головой к краю тахты, с неизменной папиросой в углу рта, мечтающий все на те же темы, что и в 11-м году. С необычайным богатством деталей он мне рассказывал возможное путешествие в будущее. Он был неистощим в измышлении дорожных приключений и злоключений. Помню, как он говорил. Возвращение из будущего было хорошо продумано и местом для приземления машины времени было выбрано пустынное поле, в котором

в ближайшем будущем не предвиделось никаких изменений. Но вот путешествие по непредвиденным обстоятельствам затянулось. Прошли на земле десятки лет, а может, и того больше, — и вот машина времени, вместо поля, находит на его месте искусственное море. Любил Маяковский рассказывать и сценарии своих будущих постановок.

Вот это все во мне воскресило несколько строк, прочитанных в книге Кассиля. И я вполне поняла, что через всего каких-нибудь четыре года после наших разговоров в переулке на Петровке, Маяковскому понадобятся другие пособия, потребность шире развить мечты своей юности. Вот тут-то и подвернулся Эйнштейн.

В. Д.: Вот теперь Эйнштейн пойдет.

Предложение пойти на лекцию Альберта Эйнштейна

Е. Л.: Колосс в поэзии инстинктивно потянулся к колоссу в науке. И вот весной этого самого 1922 года ко мне как-то зашел молодой математик, не помню теперь фамилию, не то Зильбер, не то Зильберман. Было это в Берлине, в том предгитлеровском Берлине, о котором я потом тоже хочу рассказать. Жила я недалеко от Груневальда, это берлинские Сокольники, куда люди по воскресеньям гулять ходят. Балкон мой выходил на улицу, засаженную деревьями. Была весна. Привел ко мне Зильбермана его товарищ, молодой художник [Григорий Гликман*](#), мой приятель еще со времен Школы живописи. Пили мы чай на моем балкончике. Был чудесный майский день. До моего четвертого этажа доносился шум весеннего Берлина. Сотнями мчались машины, устремляющиеся к благоухающим соснам Груневальда по широкой длинной улице Курфюрстендамм. «Вы обязательно должны пойти на лекцию Эйнштейна, — сказал Зильбер. — Я вам и Грише принес билеты». «Ну, что я в этом пойму? — засмеялась я. — Ведь я всегда была весьма слаба в математике». «А зачем тебе математика? Я тоже в математике ничего не понимаю, — сказал Гликман, — только ведь мы художники. Вот и пойдем посмотреть, а не слушать Эйнштейна». Я нашла, что Гриша рассуждает очень резонно, и решено было идти «смотреть» Эйнштейна.

* Гликман Григорий Ефимович (1898–1973) в 1920 г. через Ригу выбрался в Берлин, здесь изменил фамилию на немецкий лад – стал Глюкманом и под этой фамилией приобрел известность как живописец и книжный график. В 1924 г., как и Евгения Ланг, отправился в Италию, а в следующем году осел в Париже. От немцев, оккупировавших Францию, бежал в Соединенные штаты и умер в Лос-Анджелесе.

Встреча с Рудольфом Штейнером

За несколько дней до Эйнштейна, в том же большом зале читал лекцию очень нашумевший тогда философ [Рудольф Штейнер](#), и меня на эту лекцию затащил [Муратов](#). Рудольф Штейнер в это время строил с добровольной помощью художников и музыкантов в Швейцарии так называемый Гётеанум*, нечто вроде храма философии, посвященного памяти Гёте. Все здание должно было быть построено исключительно ручным трудом и без применения кирпича или камня. Все сделано будет из дерева. Для купола собирались привезти какую-то особенную лазоревую слюду из Норвегии.

* Гётеанум строился с сентября 1913 г. в швейцарском городке Дорнахе, близ Базеля, на земле, подаренной Штейнеру, и по его архитектурному проекту.

Я читала кое-что, написанное Рудольфом Штейнером, но его очень своеобразное представление о мироздании, частью основанное на философии индийских йогов, казалось мне уж очень неубедительным, голословным и чересчур субъективным. Он как-то уж очень настойчиво требовал, именно требовал, абсолютного верования в свой личный опыт, и опыт этот был опытом ясновидца, не допуская никаких возражений. Я читала до этого многое о йогов, читала и их собственные произведения, и я находила, что Штейнеру очень далеко до их ясности и простоты. Но меня уговорил пойти на Штейнера Муратов. Между прочим, это тот Муратов, который написал «Образы Италии».

В. Д.: Известная книжка.

Е. Л.: Известная книжка, мне она очень нравилась. Теперь я не знаю, какова она, но тогда она очень и очень производила хорошее впечатление.

(Продолжает читать.) Зал был переполнен. Было очень много молодежи, какой-то истерической, готовой ринуться в любую идейную авантюру. Как сейчас помню эти пепельно-белокурые головы, большей частью лохматые, эти серо-голубые глаза, экстазно вперившиеся в эстраду. Да, у зала было свое определенное лицо, и оно мне запомнилось. Запомнилось, как запоминается лицо человека. Много лет спустя, в 1940 году, я узнала эти лица в Париже в гитлеровской оккупации.

Тогда же, в 1922-м или 23-м годах, в Берлине назревала массовая истерия: фантазеру, авантюристу Штейнеру не удалось ее направить в свое русло. Я думаю, он оказался в конечном счете чересчур пресным и совсем не садистическим. А в Германии того времени уже ходили слухи о другом вожде — не идеалистическом фантазере, а о каком-то проявлявшем себя в Мюнхене вожде — Гитлере.

” В Берлине тех дней царил та мутная, сумбурная атмосфера, которая появляется перед эпохами или больших крушений, или преобразований, как подземные толчки вулкана, который готов к извержению.

Под гром аплодисментов Штейнер вышел на эстраду. Помню кроваво-красные чувственные губы, гладкую вдохновенную речь, в которой я, несмотря на хорошее знание немецкого языка, никак не могла уловить ведущей нити. Его речь больше наэлектризовывала, чем убеждала. Успех был громадный.

Зал аплодировал стоя. По окончании лекции ко мне подошел Муратов и радостно сказал: «Штейнер хочет с вами познакомиться». И меня потащили знакомиться с ним, хотя я сильно отбрыкивалась. Дело в том, что Штейнер окружил себя художниками, скульпторами, резчиками по дереву и живописцами. Их объединенными усилиями он собирался построить свой храм философии Гётеанум.

В. Д.: В Дорнахе?

Е. Л.: Да.

В. Д.: В Швейцарии.

Е. Л.: Да, в Швейцарии. Между прочим, я в Швейцарии так никогда и не была. Я потом только поездом проехала, а в Швейцарии я так и не была.

В. Д.: Это все с биографией Белого очень сплетается.

Е. Л.: Я Белого тоже в Берлине видела. Ведь он со Штейнером* тоже... Но Белый ведь ходил в каком-то тумане, он был какой-то еле проснувшийся всегда.

* Андрей Белый познакомился со Штейнером в Берлине в 1912 г. и стал безоглядным приверженцем его антропософского учения. Участвовал в строительстве первого Гётеанума. В 1915 г. написал статью «Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности: ответ Эмилию Метнеру на его первый том “Размышлений о Гете”» (М.: Духов. знание, 1917). Затем принял за «поэму о звуке» «Глоссолалия» (Берлин: Эпоха, 1922), в которой, опираясь на идеи Штейнера и метод сравнительно-исторического языкознания, разрабатывал тему создания вселенной из звуков.



Рудольф Штейнер. 1905

(Продолжает читать.) В тесной, битком набитой поклонниками комнатке я очутилась вплотную с плотным человеком, с очень черными волосами и очень плотоядным ртом, который меня так поразил еще в зале. Только теперь вблизи этот рот мне показался далеко не таким красным.

Пожав мне руку, Штейнер сразу перешел к теме Гётеанума. Постройка была уже начата. Все делалось ручным способом. Все строители были художниками, скульпторами, студентами. Жили все вместе, лагерем. Сами себе готовили самую простую еду на кострах.

” Я слушала вежливо, но вдруг внезапное соображение осенило меня, и я необдуманно выпалила: «Господин Штейнер, я же знаю своих товарищей – художников, да разве они удержатся от курения, да еще костры будут разводить. А все эти деревянные стружки кругом. Да ведь это обязательно кончится пожаром».

Штейнер осекся в своей пламенной речи. Мое вторжение в его речь ему очень не понравилось. Он очень не любил, чтобы ему возражали. Я совершила недопустимую бестактность.

В.Д.: И он действительно ведь сгорел* потом?

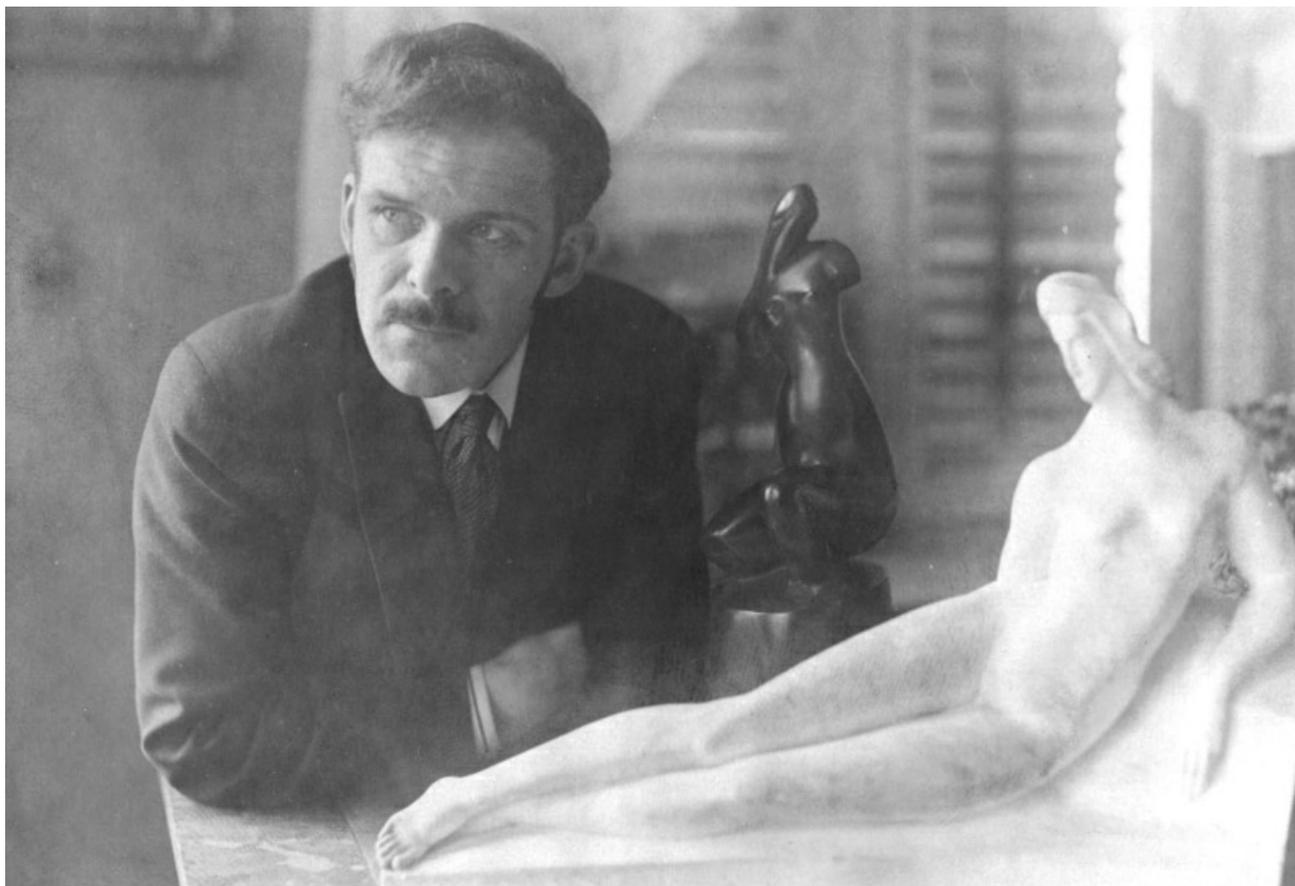
* Первый Гётеанум сгорел в ночь на 1 января 1923 г.

Е. Л.: Да. (Продолжает читать.) Меня мигом оттерли от кумира, и совершенно уничтоженный Муратов проводил меня на улицу и домой.

Возвращались мы по оживленной берлинской улице центра Берлина, и я старалась объяснить Муратову, что совсем не хотела оскорбить или озадачить Штейнера. Просто не хочу я включаться в какое-то нарастающее среди художественной молодежи настроение безумия, которое неизвестно к чему приведет. «Ведь так и до африканского тамтама дойти можно! — воскликнула я. — Да ведь и доходим уже, один джаз-банд чего стоит. Вместо того чтобы раскрепощать негров от векового рабства, от американского расизма, мы нате — заимствуем их тамтам». И я рассказала ему бывшие недавно со мной два случая из художественной жизни.

Атмосфера безумия в среде берлинской художественной молодежи

Первый случай — это как я зашла на выставку скульптора [Архипенко](#). Теперь бы эту бесформенную, претендующую на музыкальный, философский ритм скульптуру назвали бы абстрактной. Тогда этого определения еще не знали. Выставка была устроена с необычайной изысканностью. Зал затянут пепельно-голубой материей со скрытым в ее складках странным лунным светом. Это было очень красиво и таинственно. Скульптуры, довольно больших размеров, большей частью белого цвета, были поставлены в глубине голубых ниш, напоминавших часовни. Посетители говорили шепотом, как в храме. Я чувствовала себя ужасно неловко, точно попала в церковь какого-то чужого, непонятного и несколько смешного религиозного культа.



Александр Архипенко со своими скульптурами. Берлин, 1922. Источник фото: www.russianartandculture.com



Александр Архипенко. Источник фото: www.ru.wikipedia.org

”

Но вот к довершению впечатления какие-то очень высокие, очень худые и костистые девушка и юноша, мертвенно-бледные от восторга, опустились молитвенно на колени посреди голубого зала, а за ними, точно этого только и ждали, стали опускаться другие, коленопреклоненные. Я не выдержала и убежала.

«Да, они несомненно ищут, кому поклоняться, они ищут капища, — задумчиво сказал Муратов. — Только вот удалось бы им найти капище незловредное». Сколько, сколько раз я вспоминала этот разговор впоследствии во время оккупации в Париже. Вглядываясь в лица, широкие, тупые, над немецкими зелеными мундирами, мне казалось, что узнаю в них стеклянные, светлые, бездумные глаза тех двоих, преклонивших колена перед статуями Архипенко. Они искали идола — они нашли живого идола, к сожалению, как опасался тогда Муратов, «столь зловредного».

А второй случай был следующий. Один немецкий художник захотел мне показать урок рисования в частной школе. Мы поднялись по бесконечной темной лестнице, это было в центре старого Берлина, не стучась, вошли в большую мастерскую под самой крышей. За пюпитром перед прищипленными к большому картонным папкам кнопками белыми листами бумаги с углем в руках сидели на табуретках юноши и девушки. Всё те же, что и на Штейнере, всё те же, что и на выставке Архипенко. Их статические лица, бледные, точно отдавшие все свои жизненные соки, волосы и глаза. Они держали уголь наготове.

Я напрасно искала модель, которая обыкновенно бывает на вечерних занятиях. Модели не было. Зато была кафедра, и на кафедре стоял высокий, худой молодой человек, тоже с вылинявшими волосами. Он поднял руку в знак, что начинаем. И все руки с углями поднялись. И вдруг завывающим голосом, должным изобразить радостный экстаз, человек на кафедре стал выкрикивать слово «солнце». «Sonne! Sonne!» — вопил он, а угли обрушились на листы бумаги, и все участники этого бдения стали вопить: «Sonne! Sonne!» — и махали углем по бумаге снизу вверх. Листы покрывались какими-то беспорядочными снопами линий.

Внезапно учитель остановился, остановились все, стали снимать с картонов листы бумаги и прикреплять кнопками новые. Я воспользовалась перерывом и шумом бумаги и шепнула своему спутнику: «Что же это такое?» — «Это урок эмоции, — ответил он мне. — Каждое слово вызывает эмоцию, и ее-то только и надо изображать. От живой природы мы отказались как от пережитка». Нас прервала наступившая тишина. И человек на кафедре загробным голосом зарычал, точно похоронный колокол, слово «голод»: «Hunger! Hunger!» — вопил он, как древняя плакальщица, и угли разбивались вдребезги.

Студия производила удивительное впечатление. На подрамниках была в клочья разорванная бумага, все это было покрыто обломками угля и угольной пылью. Но все линии теперь направлялись вниз, к долу. Это была антитеза солнцу. Прямые, белесые волосы взлетали прядями, в голосах слышался экстаз и слезы. Просто бесовский шабаш! У меня мелькнула мысль: «А вот сейчас он станет призывать к убийству, к распятию, к жертве — ведь и пойдут убивать».

Возвращаясь с лекции Штейнера, я рассказала Муратову об этих двух случаях*. Вокруг нас был как будто нормальный, оживленный город, столица. И то, что я рассказывала, казалось каким-то мрачным бредом. То, что в Берлине назревает страшное безумие, не было видно при свете фонарей, при мчащихся машинах. Кончив свой рассказ, я сказала Муратову: «А все-таки становится страшно. Хотелось бы найти возможность из Берлина уехать». Эту возможность я нашла только через год, и тогда-то я и уехала в Италию**.

* Оба эти «случая из художественной жизни» Евгения Ланг описала ранее в мемуарном очерке «Рассказ о моей заграничной жизни» (1965), хранящемся в Государственном Литературном музее и опубликованном Вадимом Перельмутером в Toronto Slavic Quarterly. № 3. Winter 2003.

** Январь 1924 г.

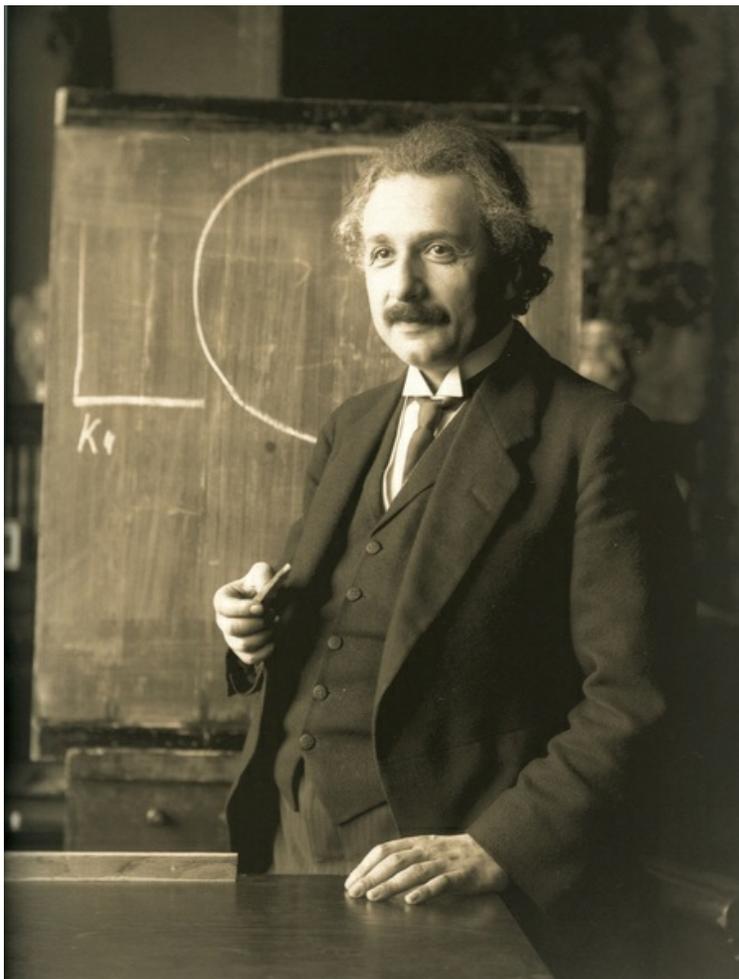
Очень скоро после этого вечера я узнала, что Гётеанум так-таки сгорел, сгорел дотла и закончен не будет. Правда, закончен он был потом*. Сгорел он от брошенной в кучу стружек папиросы. Только Штейнер и его приверженцы не уgomонились и построили другой Гётеанум. По всей вероятности, они приняли какие-то противопожарные меры. Моему ясновидению в штейнеровских кругах, как я слышала, долго удивлялись. И они не поняли, что это был просто здравый смысл.

* Сразу же после пожара Штейнер занялся проектированием нового Гётеанума — на этот раз бетонного, и его строительство было завершено в 1928 г., через три года после смерти архитектора и идеолога.

Лекция Альберта Эйнштейна

В этот самый зал, опять донельзя переполненный, я пришла опять с Зильбером и Гликманом, чтобы слушать или, как выражался Гликман, посмотреть на Эйнштейна. Аудитория тоже была наэлектризована. Все чувствовали, что присутствуют при первых дыханиях новой эры. Вышел на эстраду очень скромный, очень профессорского типа человек, среднего роста, с умным спокойным лицом — Эйнштейн. Сам великий Эйнштейн. А было в нем очень много благородного, строгого, но отнюдь не великого. Эйнштейн старался быть популярным, объяснял свои мысли, даже делал на доске какие-то чертежи. Обращался к залу: «Понимаете?» И зал выражал какое-то чувство, что они понимают. Я, конечно, не понимала ничего. Эйнштейн старался встать в уровень с пониманием обыкновенного, не лишенного культуры, все же не без всяких математических знаний, но лишенного гениальности человека. Только скоро я потеряла совсем нить. Даже за его популярными объяснениями я следовать не могла. Я взглянула на Гликмана, он мне показал мимикой, что тоже ничего не понимает. Зильбер же напряженно слушал:

как математик он, видимо, что-то понимал. Гликман и я, оба, были во власти одного и того же чувства: мы присутствуем при чем-то очень большом, огромном, что надо запомнить, что надо пронести до конца жизни, и надо во все глаза смотреть на этого скромного человека учительского вида, который на черной доске дает объяснения науки будущего. «Каким же он должен себя чувствовать одиноким? — подумала я. — Один среди несметной толпы, которой не дано его понять». Я тогда еще не была зрелым художником и не испытала еще на себе это чувство абсолютного одиночества. Впоследствии, к концу жизни, и мне пришлось его испытать, хотя не в таком абсолютном виде, ибо людей, понимающих и любящих живопись, хоть и мало, но все же куда больше, чем способных понимать Эйнштейна.



Альберт Эйнштейн. 1921. Источник фото: www.pixy.org

По окончании лекции была, конечно, овация. Мне кажется, что очень многие искренне воображали, что что-то поняли в объяснениях Эйнштейна. Зильбер настаивал пойти познакомиться с Эйнштейном. Он был с ним знаком и считал себя его учеником. И в той же тесной комнатке, в которой я так недавно еще разговаривала со Штейнером, я очутилась перед Эйнштейном. Дружеское пожатие руки, очень теплый взгляд его серьезных, глубоких серых глаз и чуть заметная усмешка губ. И тут же вопрос: «Ну что же, вам понравилась моя лекция?» Я очень смутилась, но тут же сказала: «Знаете, герр доктор, я ведь художник. Так вот, я на вас смотрела во все глаза, а понять я очень мало что поняла». Я чувствовала, что я сильно покраснела, а он взял меня за обе руки, как он умел это так тепло делать, и засмеялся: «Ну, в этом я один виноват. А ведь я так старался. Знаете, я всю лекцию прочел моей дочери, и она должна была поднимать палец во всех непонятных местах». Его дочь, взрослая девушка скромного вида, стояла тут же рядом. Она тоже засмеялась: «Ну, я поднимала, поднимала палец, пока не устала, и бросила».

В. Д. (*смеется*): Хорошо!

Е. Л.: «Как же ты меня подвела, дорогая», — сказал он шутливо. «А знаете, — сказал он, — математика — язык очень специальный, и его не все понимают, а я уверен, что мы сговоримся на других языках, приходите-ка завтра вечером все трое пить чай к нам». Он пригласил нас всех троих: Зильбера, Гликмана и меня. Оказалось, что он жил совсем близко от меня, на том же Курфюрстендамме или на одной из ближайших улиц, но во всяком случае, это было совершенно близко от того Курфюрстендамма, где я жила. Улица была длинная, красивая, обсаженная деревьями, ведущая за город, в лес.

В гостях у Эйнштейна

На следующий вечер мы все трое встретились у Эйнштейна. Кроме него, его дочери и нас троих никого не было. Был чудесный весенний вечер. Квартира, по всей видимости, небольшая находилась во втором или самое большее в третьем этаже, потому что деревья доходили до окон. И открытые окна прямо выходили на кроны деревьев. Мы собрались в столовой. Не знаю, какие еще были другие комнаты. Я в них ни разу не была. Обстановка в столовой была самая обыкновенная: обеденный стол под лампой, буфет, два открытых на улицу окна, и в них гляделись бледно-зеленые, еще еле вылупившиеся листочки. Улица была тихая. Мерным шагом шли гуляющие, направляющиеся в этот тихий вечер в Груневальд и в находящийся в нем луна-парк. Прошла какая-то шумная, галдящая ватага, выкрикивающая какие-то наглые политические лозунги. Эйнштейна, видимо, покорило, и он сказал: «Все чаще слышишь на улицах этих хулиганов. Мне кажется, это предвещает нехорошее. Какие-то темные элементы стараются вырваться наружу. Это следствие войны. Не дай бог, еще пережить одну войну. Пожалуй, после нее останется человечеству одно-единственное оружие — праща. Только они и тогда не уймутся и будут сражаться из пещеры в пещеру. Я ведь, знаете, убежден, что человечество уже неоднократно достигало высочайших степеней культуры и не умело охранить приобретенных знаний. Всегда во власти воинственных инстинктов употребляло их на военные цели. И снова, и снова уничтожало свою культуру. Да, много их, мифических Атлантид, взлетевших в воздух, унеся с собой все культурные завоевания, и оставшихся, переживших катастрофу пещерных жителей». У него лицо стало очень серьезным. Он точно читал книгу будущего.

У нас водворилось молчание. Мы все как-то не знали, что сказать. А я сказала: «Вы вот упоминаете о пещерах, а вы знаете, чем я себя считаю в искусстве? Последователем пещерных художников». Все засмеялись. «Налей-ка еще чаю», — сказал он дочери. Чай подогревался в электрическом чайнике, а пили мы его из стаканов в серебряных подстаканниках.

“ «Это я специально приобрел для вас, — сказал он. — Не правда ли, это вам напоминает родину, подстаканники?» Я очень была тронута таким его вниманием. Эйнштейн очень тепло улыбнулся, пододвигая мне мой подстаканник с горячим чаем и вазочку с пирожными.

Прохожих на улице стало совсем мало. Молодая листва благоухала за окном, и приятный стал весенний ветерок. Стало совсем тихо. «А знаете что, — сказал Эйнштейн, — теперь я с вами поговорю на самом понятном языке. Я вам сыграю Баха». Он вынул из футляра свою скрипку и стал играть. Играл он не совсем мастерски, но очень хорошо и удивительно глубоко чувствовал музыку. Он не заставлял себя долго умолять и после первой вещи сыграл вторую и третью...

И только поздно вечером мы возвращались домой по совсем затихшему Курфюрстендамму. Мы были все под впечатлением этого вечера и хранили глубокое молчание. Первым его прервал Гликман. Он прервал очарование, сказав мне: «А ты слышала, Эйнштейн ведь тоже находит, что придется из Берлина уезжать. Нехорошее в нем что-то назревает».

В.Д.: Пожалуйста, продолжайте, Евгения Александровна.

Е.Л.: Я вам рассказала о своем первом свидании с Эйнштейном у него, которое вышло очень теплым, очень приятным, оно очень скоро повторилось и повторялось много-много раз за то время, что мы жили еще в Берлине.

В.Д.: Вы, пожалуйста, поподробнее расскажите.



Альберт Эйнштейн играет на скрипке в свой 50-й день рождения. Германия, 1929. Источник фото: www.swanngalleries.com

Разговор с Эйнштейном о Сергее Есенине и Владимире Маяковском

Е.Л. (продолжает читать): Лето было очень хорошее, чудная была погода. И запомнился мне еще там один вечер, когда я познакомилась с Есениным и с Айседорой Дункан*. Я об этом дальше расскажу более подробно.

* Зарегистрировав свой брак 2 мая 1922 г., Сергей Есенин и Айседора Дункан 10 мая вылетели в Кенигсберг, там пересели на поезд и утром 11-го были в Берлине, где прожили до 20 июня. При этом в первой половине июня они посетили Потсдам, Любек, Лейпциг, Франкфурт-на-Майне и Веймар. Возвращаясь из Америки один, Есенин прибыл в Берлин 16 февраля 1923 г. В начале апреля (до 4-го) к нему присоединилась Дункан, и 5-10 апреля они едут на машине во Францию. 24 или 25 июля они выезжают на поезде из Парижа в Берлин, а 30 или 31 июля отправляются поездом из Берлина в Ригу и далее в Москву. Таким образом, повидать Сергея Есенина и Айседору Дункан вместе Евгения Ланг могла с 11 мая по 20 июня 1922 г., или в первых числах апреля 1923 г., или, наконец, в последних числах июля того же года.

В. Д.: О Есенине отдельно.

Е. Л.: Но я помню, как я рассказала об этой встрече с Есениным Эйнштейну. «Все это странные истории. Тоже дух нашего времени, — сказал он задумчиво, — и не кончится все это хорошо».

В. Д.: А вы рассказали о Есенине и Дункан?

Е. Л.: И Дункан, да.

В. Д.: О том, что Есенин приехал за границу с женщиной, вдвое старше его?

Е. Л.: Да. А ведь этот нелепый брак. Я ему все это рассказала. Рассказала о странном виде Есенина, как он ходил в английском пальто по луна-парку. Эйнштейн очень меня внимательно выслушал и сказал: «Все это странные истории. Это тоже дух нашего времени». Он задумался и закончил: «Не кончится это все хорошо».

Заговорив об известном русском поэте Есенине, я, конечно, заговорила и о Маяковском. Я неоднократно говорила о нем с Эйнштейном: о нашей детской дружбе, о последних годах в Москве, о наших бесконечных разговорах на самые различные философские темы, для которых мы в юности залезали на колокольню Ивана Великого и сидели там на вделанной в толщу стены скамеечке, решали самые различные философские проблемы. Эйнштейн как-то сказал о Маяковском: «А ведь он так же, как и я, предтеча. Мы, конечно, очень одиноки, но все человечество несет в себе возможности развить свои способности до наших. Ведь то, что существует реально, может всегда повториться и даже еще развиться».

В. Д.: Евгения Александровна, вы точно помните эту фразу?

Е. Л.: Точно помню, она у меня прямо запечатлелась.

В. Д.: Это не поздняя реминисценция?

Е. Л.: Нет, нет, нет.

В. Д.: А вы у Маяковского помните соответствующую фразу? Или, возможно, не читали?

Е. Л.: Не читала.

В. Д.: *Я стать хочу*

в ряды Эдисонам,

Лениным в ряд,

в ряды Эйнштейнам.

Это одновременно.

Е. Л.: Одновременно.

В. Д.: Когда вы здесь жили, это он писал в 22-м году в поэме «Пятый Интернационал».

Е. Л.: А я была в Берлине.

В. Д.: Вы были в Берлине, а он в Москве.

Е. Л.: И говорил вот это Эйнштейн. «Мы — говорил, — предтечи».

В. Д.: Тогда эта, конечно, совершенно исключительной важности фраза приобретает звучание другое, чем бытовая мелочь.

Е. Л.: Да. Это разговоры наши. *(Продолжает читать.)* Только человечество не дает себе времени дойти до вполне возможных вершин. Оно всегда найдет возможность воспользоваться культурными достижениями, которые ее предтечи ей дарят, употребить их в целях разрушений, и вот приходится все опять начинать сначала, с пещерного жителя и с пращи. Он все время к этой праще возвращался.

В. Д.: Он все время этот образ повторял?

Е. Л.: Да, повторял. «Простите, милый друг, — сказала я, — если я скажу глупость, но мне хочется вас спросить, считаете ли вы смешным верить в бессмертие?» Вот это был вопрос, который Маяковский хотел ему задать. Он улыбнулся своей глубокой, человечной улыбкой и как-то грустно спросил, взяв меня за обе руки: «Что, вы меня совсем за идиота считаете? Как я могу этот вопрос считать смешным? Ведь самая заветная мечта человечества испокон веку — бессмертие. И человечество его ищет, ищет путем религии, и будет искать путем науки, надеясь его открыть. Только нельзя открыть того, что есть, можно только наконец понять, что оно есть». Мы долго по-хорошему молчали, как бы радуясь, что глубоко друга поняли. Я знала, что ни при Гликмане, ни при Зильбере Эйнштейн так ясно бы не высказался. Они оба были бы очень далеки от понимания его как человека.

И вот, я начала свой рассказ с того, как я прочла у Кассиля о том, что Маяковский хотел его спросить о возможностях открыть бессмертие. Я пожалела, что Маяковский так и не узнал, что в том же 1922 году, нет, это был уже 23-й год, когда он об этом говорил, я поставила Эйнштейну этот самый вопрос.

В. Д.: Нет, Маяковский-то об этом говорил в 20-м или 21-м. Это Кассиль так вспоминает.

Е. Л.: А я поставила этот вопрос в 23-м.

В. Д.: Дело в том, что Якобсон, которому он поставил этот вопрос, уехал в 21-м году, значит, это было не позже*. Это Кассиль немножко путает.

* После отъезда Якобсона из России в 1920 г. Маяковский встречался с ним за границей (в октябре – ноябре 1922 г. в Берлине, в июле 1923 г. во Фленсбурге, в апреле 1927 и в феврале 1929 г. в Праге).



Л.Ю. Брик, О.М. Брик, Р. Якобсон и В.В. Маяковский. Германия, Бад-Флинсберг, 1923. Источник фото: www.thecharnelhouse.org

Е.Л.: Ну вот, я продолжаю.

В.Д.: Да, пожалуйста.

Е.Л. (продолжает читать): Мне пришлось побывать неоднократно еще на лекциях Эйнштейна, и должна признаться, что немногим больше я в них поняла. Мне даже пришлось присутствовать у Эйнштейна на репетициях его лекции, когда его дочь должна была поднимать палец, когда чего не понимала. Репетировали мы все вместе: его дочь, Гликман, Зильбер и я. Помню, как я первая подняла палец, потом дочь Эйнштейна («фройляйн Эйнштейн», как мы ее называли), потом Гриша Гликман, а потом сдался и наш математик. И мы, как китайские болванчики, сидели все четверо с поднятыми пальцами. Просто их больше не опускали. Эйнштейн весело расхохотался, и мы расхохотались все хором. На этом репетиции и закончились. Но Эйнштейн серьезно огорчился тем, что простые смертные его не понимают. Эйнштейн искренне любил людей, людей вообще, и всем, что у него было самого ценного, он хотел поделиться со всеми людьми.

Случайная встреча с Гитлером в 1923 году

Настала осень 23-го года. О мюнхенской шайке все больше доходило слухов. Даже берлинская буржуазия, не исключая еврейских богатых кругов, делала ставку на Гитлера, не понимая всей опасности затеянной им зловещей игры. Я раз присутствовала с Гришей Гликманом на большом званом обеде в богатом еврейском доме. Обед был создан по случаю написанного Гликманом портрета шестилетней дочки хозяев А́нели. К величайшему нашему удивлению, по окончании обеда, за десертом, хозяйка стала обходить стол с корзинкой, в которую посыпались баснословные суммы денег. Я подумала, что это сбор в пользу бедных, но я ошиблась. Собирали в пользу Гитлера. Гриша и я так и ахнули. «Вы ничего не понимаете, — сказала нам хозяйка, — Гитлер спасет буржуазию от надвигающегося коммунизма». Мы пришли в ужас. Возвращаясь домой по Курфюрстендамму, мы прошли под окнами Эйнштейна. В них не было больше света. «Скоро нас всех рассеет буря», — сказал Гликман.

Вскоре после этого случая как-то холодным осенним вечером я возвращалась одна с концерта. Концерт затянулся. Играл чудесный скрипач [Фриц Крейслер](#). И его заставили бесконечно бисировать. Потом встретила со многими музыкантами знакомыми и еле попала на последний автобус. Автобус толпа, вышедшая с концерта, брала прямо штурмом. Ехать было очень далеко, я жила почти у самого леса и была довольна, что удалось захватить сидячее место в самой глубине автобуса. Но не успели мы проехать и одной остановки, как в автобус ворвалась с гиканьем толпа гитлеровцев. Все очень хорошо одетые, в кожаных куртках. С криком «Вон евреев!» они стали выкидывать через заднюю площадку всех мужчин. Женщины с визгом выскакивали сами. Пока я тихо сидела и ждала, что со мной будет, в совершенно опустевший вагон вошел хозяин банды, и самый рьяный из его приспешников ему отрапортовал, что вагон очищен. Тогда второй его приспешник, указав на меня, сказал: «А это что?» «Это» — это была я. Но их предводитель милостиво кинул: «Оставьте, пускай доедет!» Я не оглядывалась. Пустой вагон, занятый шайкой человек в десять, странно быстро летел по ночному Курфюрстендамму. Мелькали стволы голых деревьев.

В. Д.: Простите, вагон или автобус?

Е. Л.: Автобус.

В. Д.: Автобус? Не трамвай?

Е. Л.: Нет, автобус. Кондуктор держал себя, будто ничего не произошло. На остановках мы не останавливались — неслись мимо. Я с ужасом думала, куда же это меня завезут. Перед моей остановкой я встала и, как ни в чем не бывало, позвонила. Автобус остановился, и я соскочила.

В. Д.: Ах, можно было там по требованию?

Е. Л.: По требованию. И я соскочила. Проходя мимо, я мельком окинула взглядом предводителя. Он тоже был в кожаной куртке. Только много лет спустя, увидев впервые фотографию Гитлера, я поняла, в чьем обществе мчалась ночью в обезумевшем автобусе по пустынному Курфюрстендамму.

На следующее утро я не вытерпела и сразу, даже еще до завтрака, забежала к Эйнштейну и рассказала ему вчерашний эпизод. Конечно, я не могла тогда и подозревать, что увиденный мною человек был сам Гитлер, потому что я никогда фотографии Гитлера до тех пор не видала. Но сам эпизод был настолько характерен и настолько выразителен, что, конечно, заставлял очень задуматься. Эйнштейн сказал: «Да, я думаю, что нам нужно бежать из Германии, что в ней нам житья больше не будет».

Простилась я с Эйнштейном так, как будто я с ним увижусь через два-три дня, но не увиделась. У меня был очень тяжелый приступ язвы желудка, и меня на много недель отправили в больницу. Я из больницы прямо уехала в Италию.

В. Д.: И Эйнштейна вы перед отъездом не повидали?

Е. Л.: Нет, не видала.

В. Д.: И в Берлин больше не вернулись?

Е. Л.: Я в Берлин никогда больше не вернулась. Я поехала в Италию, получила визу, уехала в Париж и начала вот те мои мемуары, которые у меня написаны, шестьсот страниц.

В. Д.: Скажите, Эйнштейн уехал нескоро еще*?

Е. Л.: Я не знаю. Если бы вы мне могли достать для прочтения биографию Эйнштейна, я была бы очень рада.

В. Д.: Постараюсь. На этом сегодня завершаем?

Е. Л.: Завершаем.

В. Д.: Хорошо. Спасибо большое.

* Эйнштейн уехал из Германии в 1933 г.